

Моей дочери Тамаре

«...мы принуждены основываться на показаниях одних только наших чувств, и мы спрашиваем себя, перед лицом этого единичного и ни с чем не связанного воспоминания, не сделали ли наши чувства жертвой галлюцинации...»

«...в любви нужно страшиться не только будущего, как в обычной жизни, но также прошлого, часто приобретающего для нас реальность лишь после будущего, — мы говорим не только о прошлом, которое нам становится известно впоследствии, но и о том, которое мы давно хранили в себе и которое вдруг научаемся правильно читать».

Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени»

Меня зовут Катерин.

Когда моему батюшке, коему я обязан этим именем, заметили, что сына так называть не следует, он хихикнул, а потом сел за пианино и взял несколько аккордов из «Катерины Измайловой». Не берусь судить, те ли самые аккорды вызвали знаменитую передовицу*, но сумбура в моей жизни они породили немало. Впрочем, об этом ниже.

Свою выходку папаша объяснял правом на родительское творчество и... логикой. Если есть Валентин с Валентиной и Александр с Александрой, спросил он, то почему не могут быть Катерина с Катерином? Что касается матери, то она умерла спустя две недели после того, как я был явлен миру, и назвать папашу идиотом уже не имела возможности. Так я и остался Катерином.

Папаша был скрипачом в симфоническом оркестре, слыл за малахольного, и моя бабушка по матери, Серафима Алексеевна, пока я пребывал во младенчестве, не допускала его ко мне почти на пушечный выстрел. Бабушка Сима была человеком с ярко выраженным собственным мнением, и мне непостижимо, как она допустила, чтобы я был наречен женским именем, хотя, полагаю, она и сама считала это собственным упущением, строя соответствующую политику по отношению к зятю.

А тому того и надо было. Спустя полгода от начала вдовства он основательно закрутил с альтисткой из того же оркестра и даже однажды привел ее в дом. Это переполнило чашу терпения бабушки, которая залпом влетела к отцу, заявила, что отныне лишает его всех родительских прав, что ребенок будет жить исключительно у нее и только ей отныне решать, когда и главное где ему можно будет видеть

* Речь идет о редакционной статье в газете «Правда» от 28 января 1936 года с резкой критикой этой оперы.

сына. Папаша пожал плечами, информировал экс-тещу о беременности альтистки, получил табуреткой по лбу и был отлучен от меня навсегда. По крайней мере, теоретически...

В то время бабушка была в начале четвертого десятка, очень даже недурна собой и еще вполне могла устроить свою жизнь. Но эта жизнь — с того самого дня, когда родитель в полной мере оценил табуретку как орудие тещи, — была полностью отдана внуку. Бабушка стала мне и отцом, и матерью, и вообще наставником по подавляющему большинству вопросов, в том числе и не житейских, хотя сама образования не получила, работая то воспитательницей в детском садике, то учительницей рукоделия в школе.

Вышла она из среды московских мещан и была крещеной еврейкой. Прадед мой, несмотря на то что служил простым бухгалтером, имел огромную квартиру в Староконюшенном переулке и мог позволить себе наградить дочь за золотую медаль, с которой была окончена гимназия, поездкой в Италию. В поезде бабушка познакомилась с молодым бородатым и смуглым красавцем, ехавшим туда же учиться живописи, и на вокзале в Риме они поклялись друг другу не расставаться. Как ей удалось утрясти это с родителями, мне неизвестно, только оттуда они отправились в Неаполь, где им удалось снять комнатку в мансарде.

Над моим изголовьем висит картина деда, где бабушка изображена сидящей в этой мансарде на подоконнике — в полупрофиль, обхватив руками колени. Картина насыщена зрелой истинно мужской чувственностью, но вместе с тем и до краев наполнена юношеской нежностью, интимностью, какой-то слишком целомудренной, почти непорочной. Будто бы была как бы два в одном и не вписывалась ни в одну из его творческих концепций. Хотя бабушка очень скупо рассказывала о том периоде своей жизни, тем не менее я едва ли не с детства верил, что это были их самые счастливые дни, ибо такое полотно под тяготами не-

взгод было бы просто неподъемно. Позже она подтвердила сама — так, собственно, и было.

Из того, что рассказывала бабушка, я сообразил, что образ их жизни был таков: дед сидел перед холстом и работал до изнеможения, а она варила ему кофе и жарила каштаны. Дед был неприхотлив в еде и вполне довольствовался блюдом, которое было, по существу, изобретено. В отваренные и политые оливковым маслом спагетти она бросала мелко нарезанные помидоры, огурцы и слегка поджаренную нарезанную паприку. Когда были деньги, туда добавлялись и кусочки тушеной телятины. А поскольку деньги были нечасто, обходились без мяса, и дед по такому делу вовсе не роптал.

В то время они венчаны не были, и как она однажды выразилась — «им это тогда было не особенно нужно». Замечание вполне в ее стиле, поскольку она любила бросать вызов нормам общественной морали, и если подворачивался случай, никогда его не упускала. Картины деда почти не покупались, а жить довелось за счет... литературных гонораров, получаемых из местной русскоязычной газеты. Над этим можно смеяться до изнеможения, но что было, то было.

Дед строчил рассказы и выдавал их за переводы с английского, французского и даже норвежского. Если бы он пытался публиковать свои опусы под собственной фамилией, то их бы просто не печатали, поскольку его имя никому ничего не говорило. А тут были «переводы» маститых литераторов, и редактор охотно брал дедову стряпню, и что самое удивительное, такая химера, как авторские права, похоже, никого тогда не волновала. Бабушка аккуратно вклеивала вырезки в альбом, который сожгла в тридцать седьмом, когда пошли говорить, что деда вот-вот должны арестовать. Она назвала это вандализмом и не могла простить себе до конца своих дней.

В конце концов они таки обвенчались, но только после того, как родилась мама и надо было возвращаться домой.

Собственно, домом для них был особняк моего прадеда, который владел сетью бакалейных лавок во Владикавказе, а потому как дед, будучи верным сыном своего народа, и слышать не хотел о том, чтобы жить в семье жены, выбора у бабушки не оставалось. По пути домой он просил сказать родителям, что она армянка. Поверить в это было проще простого, поскольку бабушка была необыкновенно хорошенькой смуглянкой, и ее наверняка приняли бы за армянку, тем более что это было горячим чаением всего семейства.

— Нет, Артур, лгать не буду, — ответила бабушка. — Если не ко двору окажусь, уеду тотчас же.

Во Владикавказе их встречали зурначи и двадцать фазтонов, вместивших огромную родню, а главное всю свору погосовских тетюшек, сгоравших от нетерпения увидеть невестку. Бабуле подфартило особенно: она оказалась рядом с колченогой теткой Воскинар, принадлежавшей к числу тех въедливых старых дев, которым не терпелось сразу же дойти во всем до самой сути.

— Вы армянка? — с кривой улыбкой спросила она бабушку, терроризируя лазерами глаз.

— Нет, — последовал ответ.

Тетка смолкла и больше не проронила ни слова.

На пиру в честь приезда сына и его жены глава семьи Богдан Погосов предложил тост за дочь, о которой мечтал всю свою жизнь. Воскинар свой фужер даже не пригубила.

У старика было четыре сына и ни одной дочери. Мой дед был младшим в семье и женился последним. Как признался однажды бабушке сам бакалейщик, она была любимой невесткой, хотя не исключено, что это же им было сказано и трем остальным. Во всяком случае, она не извлекла никакой выгоды из того, что ходила в любимицах. И как не просил ее старый Богдан уговорить сына не уезжать, обещая оставить ему все лавки, дед вместе с семьей спустя год уехал в Баку к среднему брату Семену, поскольку дела для

себя во Владикавказе не видел, а торговля была ему совершенно чужда.

Наверное, было бы лучше, если бы он все же хоть немного, хоть чуть-то, да симпатизировал ей, ибо ему на родине так и не удалось продать ни одной своей картины, за исключением заказанного музеем полотна «Сталин на нефтяных промыслах», о котором, по рассказам бабушки, говорил с кривой улыбкой. В ту пору боготворимая им живопись спросом не пользовалась, а другой он не признавал. Зарабатывал преподаванием в художественном училище и школе. Говорят, был прекрасным учителем, и его ученик, который вел рисование в школе, где учился уже я, не осмелился поставить мне итоговой тройки, хотя такая оценка была бы самой справедливой, ибо природа, словно издеваясь надо мной, наделила меня способностями только малевать.

Он умер за месяц до моего рождения. Как бабушке удалось пережить смерть мужа и дочери в течение одного месяца, знала лишь она, однако единственное разумное объяснение состоит разве лишь в том, что смысл жизни она обрела отныне во мне, и, видимо, оттого так яростно сражалась за меня с папашей.

Я знал о деде только по рассказам — ее и двоюродного деда Семена, в доме которого братья устроили мастерскую, ставшую впоследствии чем-то вроде рукотворного музея, куда крайне редко забегали ученики, коих было немало. Они наскоро разглядывали полотна, восхищенно цокали языками, разводили руками, сетуя по поводу того, что такой талант не оценен, и обещали посодествовать, забыв об этом сразу же, как только выходили за порог дома.

Картины просуществовали с полвека, пока не сгорели в пожаре.

Я расскажу об этом ниже, а пока замечу, что бабушка, к счастью для нее, не видела, как погибли картины художника, которого она боготворила. Судьба избавила ее от горчайшей чаши. Она действительно считала деда выдающим-

ся живописцем, чье время непременно придет. Час триумфа не наступил, и дед так и остался чудаком, бегущим по округе с мольбертом и этюдником. Тем не менее бабушка подвижнически служила ему, считая целью своей жизни создать условия для творчества своему гению. О себе она забывала.

Три картины деда еще долго продолжали храниться в музеях, три или четыре — в частных коллекциях, что до итальянского портрета, то я всякий раз восставал против его размещения где бы то ни было. Бабушка тоже не хотела с ним расставаться, хотя ей многие пеняли за то, что пронизанное чувственностью полотно висит над изголовьем ребенка. В ответ она хохотала и упрекала оппонентов в ханжестве. Пусть, мол, привыкает. Во всяком случае, в вашем возрасте он уже не будет говорить такие глупости.

Я же полотна стеснялся, хотя временами бросал в его сторону любопытные взгляды, правда, тотчас же отводил глаза, ибо в этой картине было нечто таинственное, пугающее, от чего вдруг начинало щемить под ложечкой, и в то же время очень, очень сладкое.

Однажды сквозь щели в заборе я видел, как в соседском саду купали Жанну, мою одиннадцатилетнюю соседку, с которой я часто играл в салки. Они с мамой стояли спиной ко мне и, видимо, не чувствовали, что за ними подсматривают. Я впервые видел обнаженную девочку, но это оставило меня совершенно равнодушным, словно перед глазами у меня было нечто неодушевленное, лишенное индивидуальности.

С портретом было все иначе. Он представлялся мне едва ли не живым. Казалось, еще несколько минут и бабушка сойдет с картины и предстанет передо мной во всем великолепии своей наготы. В моих глазах сразу начинали вертеться причудливые образы, в символике которых я всякий раз пытался разобраться, и когда мне чудилось, что еще мгновение и я все пойму, раздавались шаги бабушки реальной,

телесной, и я тотчас же бросался в кресло с «Пятнадцатилетним капитаном»^{*} в руках.

Она ходила почти бесшумно, не топала и не шаркала, а словно парила в нескольких миллиметрах от пола, будто большой белый эльф, и вообще мало чем походила на классический образ бабули с пучком седых волос на затылке и в старомодных очках на испещренном морщинами лице. Волосы у нее были действительно с проседью, однако при этом мягко, серебристо и очень романтично ниспадали на плечи, и, любуясь ими, я неизменно забывал о ее седине. С возрастом она не оплыла, а, напротив, сумела сохранить изящность фигуры, так точно запечатленной дедом на моем любимом холсте.

На современном языке то, что открывалось моим юным глазам на полотне, зовется сексапильностью и как всякое точное определение теряет очарование запретного плода. У нее была не по годам высокая грудь и упругие, пружинистые ноги, что позволяло ей сохранить молодую осанку, а пунцовые строго очерченные губы были еще способны сводить с ума мужчин. Когда она улыбалась, то принимала совсем иной облик, скорее *la femme fatale*^{**}; ей всегда удавалось сохранять некую недосказанность, сопровождавшая ее на каждом шагу улыбка же эту недосказанность превращала в неразгаданную тайну. Но прелестнее всего в этом облике была, как не странно, небольшая, похожая на звездочку родинка над верхней губой, придававшая ей необыкновенно озорной вид, который мог быть и сладостен, и властен. И чем старше я становился, тем лучше понимал своего деда, особенно в ту минуту, когда они с бабушкой впервые увидели друг друга.

Но надо было пройти по меньшей мере четверть десятилетий, чтобы я окончательно понял, что именно она

* Роман Жюль Верна.

** Роковая женщина (фран.).

пробудила во мне чувственность, хотя грех было бы жаловаться, что прекрасный пол обходил меня своим вниманием. Напротив, пройдя многочисленные рифы, которые таит в себе средний возраст, я — в отличие от многих других мужчин, в конце концов ставших либо женоненавистниками, либо волокитами, — сумел сохранить истинную признательность женщинам за все, что они подарили мне. Благодаря ей!

Когда она входила в комнату и видела меня с книгой, то обычно взъерошивала мне волосы, а потом интересовалась, что я читаю. Она руководила моим чтением и очень этим гордилась. Любимым ее писателем был Чарльз Диккенс, к Жюлю Верну, которым я в ту пору увлекался, она относилась с прохладцей, а за «Пятнадцатилетнего капитана» вообще пеняла. Но на сей раз я опередил ее и осмелился наконец задать вопрос, который несказанно мучил меня, рождая чувства, которые я был не в состоянии ни постичь, ни объяснить...

— Ба, почему дедушка нарисовал тебя голой?

Сейчас я ни за что не употребил бы слово «голой», поскольку в нем есть что-то грубое, особенно по отношению к такой женщине, как бабушка, и употребил бы другое, нейтральное и чистое — «нагой». Но в ту пору я, заурядный акселерат, не придавал значения тонкостям, особенно чувственного толка, и хвала ей и за понимание, и за тончайшую деликатность.

Некоторое время она пристально разглядывала меня, потом ответила вопросом:

— А почему тебя это интересует?

Теперь задумался я.

— Тебе же, наверное, было стыдно?

Она улыбнулась. Улыбка у нее была тоже очень мягкой, и в ней было еще что-то, чего я тогда не понимал.

— Нет, Катенька, мне не было стыдно.

— А почему?

Бабушка изучающе разглядывала меня, будто пыталась найти самые понятные слова, но, видимо, так и не нашла их, поскольку сказала просто:

— Потому что я любила твоего дедушку.

Простота не всегда ясна сразу. Я подумал о том, что люблю Жанну, и однажды даже сказал ей об этом, и она ответила, что любит меня тоже, и потом задался вопросом: было бы ей стыдно, если бы я рисовал ее голой? И был уверен, что было бы.

Спустя несколько дней мне представилась возможность усомниться в этом. Жанна встретила меня на улице и некоторое время рассматривала молча и с укоризной.

— Зачем подсматриваешь?

Я чувствовал себя карманным воришкой, которого поймали за руку.

— А ты видела?

— Да, и мама видела.

Я молчал и не знал, что сказать.

— Если ты меня хочешь увидеть голой, — продолжала она, — то приходи завтра днем к нам в сарай, и я разделюсь...

Мне было очень не по себе, но я все-таки пришел, и Жанна разделась. Я в растерянности, битый сладкой дрожью, отводил глаза, чувствуя, что еще мгновение и сторю, а она попеременно отходила назад, забегала вперед, поворачивая то чуть вправо, то чуть влево, усиленно стараясь оказаться в фокусе моего взгляда и поминутно наталкиваясь на ржавые ведра и гнилые доски.

— Так смотри же на меня. Я не хочу, чтобы ты подсматривал за мной...

— Почему?

— Потому что я люблю тебя и буду твоей женой.

— Тебе было бы стыдно, если бы я рисовал тебя голой?

— Нет.

Эти слова потрясли меня, и не столько своей уверенностью, сколько подтверждением сказанного бабушкой, хотя

мне все равно не ясно было, почему не стыдно демонстрировать себя голым даже тому, кого любишь. Я был ужасно самолюбив и уже твердо переходил в тот возраст, когда жизнь задает загадки одна неразрешимей, и главное более коварной, другой, и от того, что Жанна знала ответ хотя бы на одну из них, чувствовал себя скверно.

В тот день бабушка не переставала наблюдать за мной, да я и сам чувствовал, что выгляжу так, будто получил двойку в четверти (в ту пору отметки, которые ставят в школах, служили мне мериллом всех мерил). А она улыбалась загадочно, будто чему-то своему, и только уже перед сном спросила:

— Ты сегодня виделся с Жанной?

Я отмолчался.

— Виделся, правда?

И не дождавшись моего ответа, продолжила с той же настойчивостью:

— Она красива?

Мне этот вопрос был не совсем ясен. Мы втроем встречались чуть ли не каждый день, и у нее самой была масса возможностей оценить, красива ли Жанна.

— Хорошо, молчи. Мне было интересно, что думает мой внук... Жанна действительно красивая девочка, а ты, взрослея, становишься все более похожим на деда. Чудеса!..

— Ну и что?

Я продолжал не понимать.

— А то, мой милый, что спустя несколько лет ты будешь зеркальным отражением того молодого человека, которого я впервые увидела в поезде и полюбила безоглядно. Мне не хотелось бы дожить до того дня, когда ты станешь его двойником.

Но она дожила. Мне было двадцать...

Мы с Жанной учились тогда на фортепианном отделении консерватории и мечтали выступать дуэтом. Готовили к студенческому капустнику кое-что из Рахманинова, репетировали в свободных классах, когда выпадала возможность, и возвращались поздно.

Когда мы вошли, бабушка уже стряпала на кухне и, увидев нас, схватилась за сердце и уронила кастрюлю. Мы бросилась на помощь, но она почти незаметным жестом попросила остановиться.

— Жанна, мне хотелось бы побыть с внуком одной.

После того, как Жанна ушла, бабушка взяла меня за руку и посадила на диван. Я хотел, кажется, что-то сказать, но ответом мне был приложенный к губам палец...

— Молчи... ни слова... молчи.

Потом начала пристально всматривалась в меня, будто впервые видела, а крупные слезы, не переставая, текли по ее щекам.

— Артур, как же долго я ждала тебя...

Поначалу я не сообразил даже, к кому она обращается. Пытался заговорить, но она прикрыла мне рот рукой.

— Как долго, любимый...

Потом на несколько минут смолкла. И вдруг заговорила, почти шепотом, умоляюще:

— Я знала, что ты придешь. Ты ведь возьмешь меня с собой, правда?

Замолчала опять. Казалось, очнулась после транса. Встряхнулась. Поднялась.

— Мне надо побыть одной, Катенька. Ступай к себе. Прости, что обеда нет. В холодильнике найдешь что-нибудь.

И ушла, тихо затворив дверь.

Я стоял, словно прибитый гвоздями к полу. В голове был полный сумбур, роились невнятные, мягкие и бесформенные, словно вата, мысли, одна нелепей другой, а единственное, что было мне ясно, казалось полнейшим бредом. Она приняла меня за деда, который умер два десятилетия назад. К тому времени из головы моей давно выветрились ее слова, что ей не хочется дожить до того дня, когда я стану двойником ее мужа. Но теперь они вдруг возникли будто сами по себе, как бы из небытия.

Я подошел к зеркалу и долго смотрел... на своего деда?

Все это мне казалось в лучшем случае галлюцинацией. И как не старался выбросить из головы слова бабушки, факт оставался фактом. Для нее я существовал в двух ипостасях. И не догадывались — ни она, ни я, — что и любовь моя будет двулика. А о приближении ТОЙ НОЧИ даже предположить не могли...

Чтобы как-то прийти в себя, я вышел на крыльцо и тут увидел Жанну. Видимо, она не переставала ждать меня, продолжая терзаться по поводу произошедшего. Жанна действительно стало необыкновенно красивой девчонкой, вобрав в себя сразу несколько кровей, не часто смешивающихся друг с другом. Это одарило ее редким сочетанием пронзительно черных волос и ярко-голубых глаз, которое вкупе с матовой кожей и тонкими, прямыми, будто вычерченными по линейке чертами лица придавало ей и аристократизм, и благородство, и необыкновенную прелесть.

— Что случилось, Катерин?

Она не называла меня Катей, как бабушка, но и в отличие от многих моих знакомых не иронизировала по поводу злополучного имени.

Хотя мы объяснились в любви еще детьми, наверное, все-таки именно это побудило меня из всех девушек, оказывавших мне знаки внимания, выбрать именно ее. И никак не мог надивиться ее выбору. Со своей внешностью она почему-то предпочла меня многим десяткам парней, которые могли бы составить ей партию гораздо более достойную, и никогда не жалела о своем выборе.

— Так что же? — видя мое замешательство, спросила она гораздо настойчивей.

— Сейчас... Это непросто.

— Ты не в себе. Пойдем к нам.

Мы жили в домиках, называемых в нашем поселке «финскими». Говорят, их строили в войну финские пленные. Это были очень добротные одноэтажные коттеджи, имевшие два выхода — в сад и на улицу — имени, между

прочим, Советской интеллигенции. Выходила она на легендарный магазин культтоваров, имевший любопытное свойство в канун ревизий сгорать, а потом восставать из пепла, как птица Феникс. В культтоварах, покупая нотные тетрадки, мы с Жанной и познакомились, удивившись, что мы соседи. С той поры этот дом стал едва ли не моим.

И сейчас я, в оцепении развалившись на диване и чувствуя руку в ее ладонях, слышал ее требовательные слова:

— Объяснишь наконец?

— Кажется, она ревнует меня к тебе.

Жанна прикрыла рот рукой. То ли в недоумении, то ли в ужасе.

— Как такое может быть?

— Может, если ревнует... Говорит, что я двойник моего деда, и сегодня, когда мы пришли, она приняла меня за него.

Жанна разглядывала меня уже с сочувствием, как обычно смотрят на людей, у которых помутилось в голове.

— У вас есть его фотографии?

— Есть две-три... Только мне трудно судить. Они очень плохие... Да и дед уже в возрасте.

Теперь молчала Жанна. Она подошла к окну, настежь распахнула его и принялась жадно заглатывать все еще теплый воздух...

— И как нам теперь быть?

Вопрос застал меня врасплох, поскольку я пока не уточнил для себя место Жанны в этой раскладке и сейчас усиленно пытался определить его, а чтобы она ничего не поняла, глупо спросил:

— А что?

— Как что? Так ведь она теперь на порог меня не пустит. Жанна, похоже, читала мои мысли.

— Ну, нет... Ты плохо знаешь бабушку.

Сказав это, я почувствовал, что сейчас, в эту минуту между нами троими затягивается узел, который не разру-

бить ни одному мечу. А Жанна уже сидела рядом, обняв меня за плечо:

— Мне не нравится, что портрет, на котором она изображена обнаженной, висит над твоим изголовьем...

Она неожиданно перескочила на другую тему, хотя и смежную, однако гораздо более сложную, и я уже вообще не знал, что сказать.

— Почему?

— Неужели не понимаешь?

Понимать-то я понимал, только хотелось знать, что думает Жанна.

— Мне кажется, портрет странным образом влияет на тебя, — наконец сказала она. Твоя бабушка очень хороша, гораздо лучше меня. И я чувствую это на себе. Мы давно уже как бы жених и невеста, но ты ведешь себя со мной совсем не так, как следовало бы жениху.

— А как следовало?

Это была уже фальшь. Объяснения не требовались. С того самого дня, когда я подсматривал за ней, купающейся в саду, мое отношение к давно повзрослевшей купальщице оставалось платоническим, и я скорее служил ей, как средневековый рыцарь... А ее робкие попытки привнести в наши отношения элементы чувственности почти не находили у меня отклика.

Я не понимал самого себя, поскольку девушки все сильнее волновали меня, но это было скорее какое-то отвлеченное, абстрактное волнение, которое никак не переходило на конкретный объект. И самое ужасное в том, что мне не с кем было этим поделиться. Отец, давно бросив альтистку (уже с ребенком), жил у арфистки, которую тоже умудрился обрюхатить, и встречался со мной крайне редко, чаще всего в процессе регулирования с бабушкой финансовых вопросов, связанных с моим содержанием. Он был жуткой занудой, раздражал меня, а чтобы обсуждать с ним темы повышенной деликатности, не могло быть речи вообще.

— Как? — переспросила Жанна.— Ну хотя бы поцеловать меня сейчас.

Я взял ее за плечи и поцеловал в обе щеки, а потом чмокнул в губы. Неловко, тушуясь, словно делал нечто такое, чего можно было стыдиться. Я и на самом деле жутко стыдился...

— Расстегни мне пуговицы на блузке, — сказала она, взяв меня за руку и подняв ее к своей шее.

Я неловко справился с верхней пуговицей, чувствуя, как в моей груди поднимается какая-то странная волна, жгучая и хмельная, и тут услышал голос бабушки:

— Катя! Ужинать...

Я заметил, как изменилась в лице Жанна. Она умела держать эмоции в узде, но сейчас это было выше ее сил.

— Не уходи!

— Не могу, я должен...

— Прошу тебя.

Казалось, эту минуту она ждала едва ли не всю жизнь... А я, напротив, вдруг почувствовал облегчение, словно снял с плеч груз огромной ответственности. Это было похоже на предательство, и тем не менее ноги уже вели меня к двери, в то время как глаза Жанны наполнялись слезами.

— Катерин, это нечестно.

Я все понимал и тем не менее уходил.

Бабушка уже ждала на кухне. Поначалу была сдержанна и деловита, ничто — ни в облике, ни в осанке, ни в выражении глаз, всегда таком красноречивом — не напоминало об эмоциональном взрыве, который сотряс ее всего несколько часов назад. Потом попыталась шутить, но я не отвечал на ее слова и сидел, тупо глядя в тарелку. Мы некоторое время молчали. Улыбка постепенно сползла с ее губ. Она побледнела, как бывало всегда, когда видела, что мне не по себе, потом подошла и мягко потрепала мой подбородок.

— Что-то не так, скажи?

Я знал, что лучше было бы сказать, но совсем не соображал, как это сделать, какие слова найти. Да и какие тут могут быть слова?

— Доверься мне, — сказала она, сев рядом.

И я доверился.

Мы выпивали по поводу моего семидесятилетия.

«Мы» — это мой сын Святослав с женой, дочь Гаянэ с мужем и сосед Тарас Теменюк, предложивший тост за появление старушки в моем доме. Я был уже в подпитии и в ответ наорал. Благо Вагифа с Натэлой не было. Натэлу этот тост наверняка бы потряс, а Вагиф мог бы и мордобой устроить. Они с Теменюком друг друга не выносят.

Без скандала, правда, не обошлось. Гаянэ именно в эту минуту вносила блюдо с долмой и от слов Тараса выронила супницу. Потом села на краешек стула, тут же оказалась на полу вслед за лакомством, составлявшим особую гордость ее кулинарии, и пошла рыдать, а ее муж и брат не нашли ничего лучше, как устроить ор.

Беременная дочь на полу — это было для меня чересчур, и перед моими глазами уже кружились черные мухи, предвещавшие гипертонический криз. Мы с Гаянэ острее других в семье переживали смерть Жанны, и не было даже единого мнения, отмечать ли мне круглую дату. Настояла именно она.

Дабы выпустить пар, я сказал Теменюку пойти вон. Это было, конечно, через край, и спустя минуту меня уже терзало, тем более что опасность криза миновала, а Тарас успел хлопнуть дверью. Это был недурной и безобидный человек, проработавший всю жизнь ветеринаром, но, боюсь, каждодневное общение со скотом повлияло на его душевные тонкости, хотя размолвка грозила мне дорого обойтись

О себе я мог бы сказать словами Вооза Виктора Гюго:

Но вот я одинок, мой вечер подошел,
И, старец, я дрожу, как зимняя береза*.

Дети нынче нуждаются во мне все меньше, а если и нуждаются, то главным образом когда возникает потребность

* Пер. Н. Рыковой.

либо в деньгах, либо в протекции. Правда, есть еще внуки, но они достигли того возраста, когда уже не до дедушек. Что до Вагифа, забегает он теперь редко, и моей отрадой остается все тот же Теменюк.

Мы с ним увлекаемся шахматами, хотя играем, как два образцовых мухомора — просматриваем выигрыши, «зеваем» фигуры, не разрешаем перехаживать и дуемся друг на друга по всякой ерунде. Но главное, что нас объединяло — это прошлое. Оба мы остались в своем времени: на дух не принимаем многопартийность, свободные выборы и независимые СМИ, хотя справедливости ради должен признаться, что против рынка ничего не имеем ни я, ни он. Однажды в полемике с моим сыном (проиграв мне три партии подряд) Теменюк бросил, что посчитал бы за счастье выйти на Первомайскую демонстрацию с портретом Брежнева в руках. Когда Святослав ехидно полюбопытствовал, где бы он при этом поместил талон на 300 граммов вареной колбасы — на шею или на задую? — гордо ответил, что нет ничего более достойного для старика, чем защищать идеалы молодости. Жанна по такому делу даже зааплодировала.

Сыном ни я, ни она довольны не были. Фортепианным дуэтом мы так и не стали (слишком уж разными оказались), но парня своего назвали в честь общего нашего кумира Святослава Рихтера, надеясь, что из отпрыска выйдет хотя бы профессионал. Увы... Закончив консерваторию с тройкой по специальности, он тотчас же оставил фортепиано, занявшись торговлей электроникой, а затем открыл собственную шарашку по продаже компьютеров, от которой меня пошло мутить с первого взгляда. С Жанной было еще хуже: переступив порог этой обитой фанерой и жестью лавочки, она тотчас пошла плакать, чего с ней не случалось уже давно. Правда, добрая душа Гаянэ в тот день все-таки купила у брата (а брат, представьте, продал!) монитор, но в оценке деятельности Святослава нашу точку зрения разделила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru